



Б. ЭЙХЕНБАУМ

Трубный глас

(В. Маяковский. «Война и мир» 1917 г. и «Человек» 1918 г.)

Кажется, теперь уже никого не испугаешь и не ввергнешь в глубокий обморок, если скажешь просто Владимир Маяковский — настоящий большой поэт. «Обывателя» теперь нет — порода вымершая. Значит, искать «наслаждения» в поэзии некому. Кому теперь придет в голову читать стихи? Сытых мало, а на тощий желудок кто же, кроме безумцев, вздумает развернуть книгу стихов? Итак, Маяковский имеет теперь право быть безумцем, потому что читать его будут только безумцы. Итак — я сам безумец и пишу для безумцев. Какое веселое чувство освобождения! Маяковский уже не воскликнет подобно Пушкинскому поэту:

Ах, лира, лира! что же ты
Мое безумство разгласила?

Нет, он громогласно крикнет — так, что стены задрожат:

Это не лира вам!

Вы скажете — не поэт? Пусть — «крикогубый Заратустра». Но признаемся — поэзией «лиры» мы можем любоваться, но жить ею, дышать ею уже не можем. Необычайное явление — Блок, тихий поэт «лиры», пишет громкую, кричащую и гудящую поэму «Двенадцать», в которой учится у Маяковского. Это трагично, это почти вызывает слезы. Говорят, что эта поэма хороша. Я не знаю — я вижу, что Блок распинает себя на кресте революции и могу взирать на это только с ужасом благоговения*.

* Редакция считает нужным оговориться, что она отнюдь не умиляется вместе с автором статьи «самораспятию» Ал. Блока, во-первых, потому что не всякое и не во всех случаях самораспятие достойно умиления, а во-вторых, и потому, что «видимость» блоковского «самораспятия» не внушает ей особого доверия.

Маяковский — другое дело. Он никогда не касался лиры — куда она ему! У него руки не так сделаны. Она сломалась бы при первом его прикосновении. Он громогласен от природы. И вот это — самое важное. Говорят, что стихи когда-то только пелись и сопровождались пляской. Потом они стали говориться. А вот настало время, когда поэт мыслит себя громогласно кричащим их в тысячеголовую толпу. Где уж тут думать о тонкостях ритма, звуковых сочетаний, о законченности фраз и точности рифм! Надо, чтобы долетало в самый конец этого огромного зала, в котором мыслит себя поэт.

Это очень важно. Это — переворот. Другой стих, другая поэтика, другой словарь — все заново. Посмотрите. Того, что мы привыкли называть стихотворным ритмом, нет. Что же — не умеет Маяковский? Нет, не хочет — не нужен ему этот ритм, а надобен другой. И вот — новая *запись* стихов: не по строкам, а по дыханию, потому что каждое слово надо кричать полной грудью. Местами можно немножко стихнуть, тогда растягиваются и строки. Так в начале поэмы («вещи») «Человек»:

Священнослужители мира, отпустителя всех
грехов-солнца ладонь на голове моей.
Благочестивейшей из монашествующих —
ночи облачение на плечах моих.

А вот — полный голос, частая мена дыхания:

Куда я,
Зачем я?
Улицей сотой
мечусь,
человечьим
разжужженным ульем.

Это — ритм голоса, ритм дыхания. Поэтому даже более плавные, построенные по типу обычного ритма, строки располагаются не по схеме, а по произношению:

Погибнет все
Сойдет на нет.
И тот,
кто жизнью движет,
последний луч
над тьмой планет
из солнц последних выжжет.

Ведь это — совсем «хорошие», совсем «нормальные» стихи — стоит только расположить их по обычной схеме:

Погибнет все. Сойдет на нет.
И тот, кто жизнью движет,
последний луч над тьмой планет
из солнц последних выжжет.

Таков ритм — такова и рифма. Она появляется у Маяковского там только, где нужна, где должна быть слышна. И природа ее — новая. Она вся — в ударном слоге, потому что только этот слог и долетает до последнего уха последнего слушателя, а Маяковский — всегда перед толпой, никогда не в кабинете. Он рифмует «грязь вы» и «разве», «напрасно вам» и «праздновать». Не умеет? Нет, не хочет, потому что старая комнатная рифма ему не нужна. Из уст его, громко взывающих к толпе, вылетают с напряженной силой ударные гласные — на них вся его динамика; остальные звуки все равно теряются, заглушаются, кокаются — было бы странным педантизмом «выкипячивать» их до конца.

Нет и той тонкой, «лирной» инструментовки, которая свойственна стиху говорному. Она была бы смешна у Маяковского — ведь не для забавы же это делать! Отсюда — резкая звучность его стиха, сообщающая ему силу громовую: ведь стих этот должен пролететь через тысячную толпу, ударить в барабанную перепонку каждого и раскатным эхом вернуться обратно. Поэтому — «в ковчеге ночи новый Ной». Это «н» долетит до конца — оно не затушевано и закреплено тройным ударом.

Все в стихе Маяковского — от этого нового пафоса, пафоса не лиры, а трубы. Поистине — поэт нашего времени, наших дней, вышедший на улицу, вмешавшийся в толпу и оглушающий ее своим громовым голосом. Не поэт, а воин? Да, и воин, и поэт. Как же иначе в наши дни? Надо иметь богатырскую грудь и богатырский голос, чтобы сказать сейчас новое слово и чтобы его услышали. Маяковский это знает:

«О-го-го» могу
зальется высоко, высоко.
«О-го-го» могу
и охоты поэта сокол
голос
мягко сойдет на низы.

Был такой самодовольный литератор, который принял Маяковского за себя и написал в 1916 г. рецензию — я спрятал ее и хочу теперь посмеяться. «Через все изделия его музы, — писал этот литератор, — проходит настроение учителя из “Трех сестер”, который всем доволен. А самодовольство Маяковского —

жирное, грузное, как-то по особенному выпирающее из него». Ну как не заподозрить самого этого литератора в наклонности к некоторому самодовольству, если из всего сборника Маяковского («Простое, как мычание») он сумел усвоить себе именно это? Однако литератор этот — не без чутья, только напрасно он рассердился на Маяковского! Если бы не этот гнев — вышла бы недурная рецензия. «Зычное гиканье “Царя ламп” наполняет уши, поражает барабанную перепонку, действует на мозг», — пишет тот же литератор. Да ведь это то самое, что и я говорю? Но литератору это не нравится — это не «поэзия», это «зык»; он привык «наслаждаться» (кто же самодоволен?), а тут его беспокоют — действуют ему прямо «на мозг».

Ну, теперь, вероятно, и этот литератор сказал бы иначе. Мы, во всяком случае, благодарны ему за основную мысль, которую, правда немного исказив, положили в основание этой заметки.

